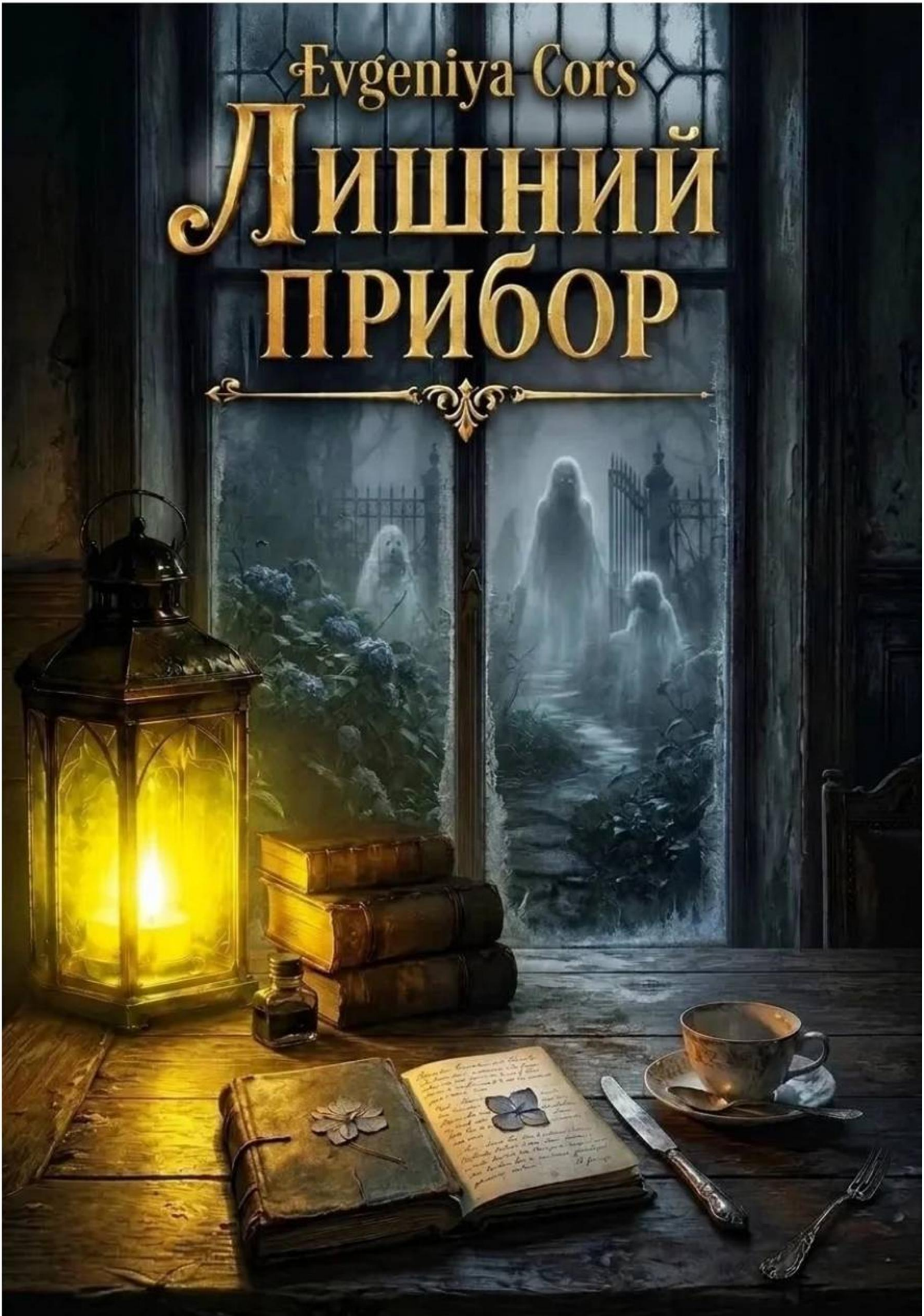
Evgeniya Cors
Лишний прибор

Evgeniya Cors

Лишний прибор

«Автор»
2026

Cors E.

Лишний прибор / E. Cors — «Автор», 2026

В старом доме в сорока милях от города у каждой вещи есть своё место, а у каждой тени — своё имя. Элеонор привыкла жить по двойному расписанию. Днём она ведёт хозяйство и отвечает на редкие вопросы мужа. А вечерами, когда дом пустеет, зажигает свечи в комнатах, где никто не живёт, и следит за тем, чтобы за ужином у окна всегда был накрыт лишний прибор. Соседи считают её тихой чудачкой, а муж и доктор лечат её порошками и водами, не понимая главного: пока жива хозяйка, дом хранит тех, кому больше некуда идти. Но когда из тумана на свет латунного фонаря начинают стекаться неприкаянные души, Элеонор приходится вести им учёт в заветной бабушкиной тетради — рядом со счетами за муку и свечи.Это тихая, обволакивающая мистическая история о памяти, долге и тонкой грани между живыми и мёртвыми. О том, как легко потерять из виду тех, кто рядом, и как страшно однажды обнаружить, что пустой стул у окна ждал совсем не чужого человека.

© Cors E., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дом 5
Конец ознакомительного фрагмента. 9

Evgeniya Cors
Лишний прибор

Глава 1. Дом

Если вам станут рассказывать, будто старый дом ночью спит, спросите рассказчика, приходилось ли ему ночевать в старом доме.

Дом просыпался раньше Элеонор и делал это основательно, как старик, которому спешить некуда: вздыхала лестница, в стенах что-то переступало и укладывалось поудобнее, по обоям сползали багровые тени Хозяина Стен.

— Рано, — говорила она в потолок. — Спи.

Дом не спорил и не спал. Он сдвигал тень на полпяди и оставлял её там, где ей вздумалось.

Хозяином Стен назвала его сама Элеонор. У него не было имени, а без имени в доме не живёт никто, даже тень. К утру тени уходили под плинтусы и в дымоходы, и в комнате делалось светло от одного неба, низкого, мокрого, как выстиранное бельё.

Она лежала на спине, не открывая глаз, и слушала, как он устраивается. Под одеялом успевало нагреться только то место, где она лежала: стоило повернуться, и простыня под боком оказывалась холодной, как мрамор. Руки она держала поверх одеяла, и к утру они застывали: длинные пальцы, крупные суставы, обкусанная кожица у ногтя на левой руке, привычка, от которой она не могла избавиться с детства.

Потом был кувшин: вода за ночь остывала так, что ломило пальцы. Она наливала её в таз, опускала руки по локоть и стояла, пока не проходила дрожь. Потом тяжёлый шёлк, тёплые чулки, костяной гребень с частыми зубьями, и всё это в темноте, наощупь, в комнате, где с ночи пахло холодной золой и мылом, потому что в доме у каждой вещи было место, и вещь знала о нём побольше хозяйки.

У зеркала она задерживалась не дольше минуты. Там было лицо, которое она знала лучше всех и видела реже всех: высокий лоб, тёмные брови почти в одну линию, глаза, о которых все говорили «усталые», хотя она не уставала. Губы сохли, и она проводила по ним влажным пальцем. Косы она заплетала на затылке, не глядя, и они лежали тяжело, как верёвки.

— Ну, — сказала она отражению. — Пошли.

В угловой комнате висел бабушкин портрет: женщина в тёмном платье, с тем же высоким лбом и теми же тёмными бровями. Элеонор заходила туда каждое утро и с годами всё чаще ловила себя на том, что смотрит мимо платья, мимо рук, в лицо, которое знала лучше своего. Бабушка смотрела строго и чуть в сторону, будто уже тогда видела в комнате кого-то ещё, и Элеонор отвечала ей кивком, как отвечают старшим, когда не хотят разговора.

В парафиальной книге она была записана Беатриче. Так пожелала бабушка, и патер не стал спорить, потому что дом кормил парафию; имя жило себе в бумагах, как живут там чужие подписи. Все звали её Элеонор. Только бабушка, пока была жива, говорила «Беатриче» так, будто читала вслух, и после её смерти этого имени не произносил никто.

Дом стоял в сорока милях от города, где ещё выходила газета, и в трёх от почтовой станции; это были единственные числа, которые о нём знали в парафии. Из дома не уходили только те, кому идти было некуда. Прислуга приходила из деревни, топила, скребла, стирала, а через месяц уходила, чаще всего не объясняя причин, и в парафии давно решили, что место нехорошее. Элеонор платила вперёд, и это работало до того утра, когда женщина начинала обходить комнаты с видом человека, считающего шаги до калитки.

Хозяйство она вела по расписанию, и расписание было двойным. Одно держалось у неё в голове для людей: когда ждать патера, когда поверенного, когда топить в западном крыле;

по нему жили кухня, счета и прислуга. Второе было для дома: какие комнаты проветривать в какой день, где менять воду в вазах, в какой час обходить парадную, чтобы никого не задеть. Первое она могла назвать вслух, второе не называла никогда.

Затем шёл сад.

Туман в этот час ещё лежал на гортензиях, и сами гортензии под ним стояли тяжёлые, голубые, величиной с детскую коляску, цветом в свежий синяк. Элеонор шла по дорожке, не подбирая подола, и юбка намокала до колен и холодила ноги. Сад держался собственного календаря и здешних заморозков не признавал: в конце октября розы наливали бутоны цвета запёкшейся крови, трава под ними оставалась зелёной, как в июне, а на дорожках к полудню вызревала такая слизь, что по ней можно было изучать естественную историю, не вставая с места.

Цветы он давал на два дома сразу: одни шли в вазы к обеду, другие в комнаты, где обеда не бывало никогда. Заросли смыкались у Элеонор за спиной выше головы, и она шла по ним, срезая и то и другое, как ходят по кладовой, где давно известно, что лежит на какой полке. Ножницы она держала низко, у самого стебля, и стебли ложились ей на левую руку один к одному, с каплями в срезе.

От кустов пахло мокрой землёй и чем-то сладковатым, как от подгнивших яблок. За колючими кустами мерно пощёлкивали костяные ножницы Садовника. Голова у него была скворечником, сколоченным с любовью и без малейшего понятия о приличиях, а в плечах гнездились птицы и не улетали даже зимой. Разговаривать с ним Элеонор не пыталась; она оставляла на каменной скамье горсть сушёных ягод или старую фарфоровую пуговицу, и Садовник бережно прятал эту дань в щель своего деревянного лица.

— Всё ладно? — спрашивала она, не останавливаясь.

Ножницы щёлкали дважды, коротко.

— Ну и славно, — говорила Элеонор и шла дальше.

С охапкой она возвращалась в дом и расставляла вазы по анфиладам, комнату за комнатой, где духи держали вечную ночную вахту и где всегда пахло воском и старым деревом. Вазы были тяжёлые, вода в них отзывалась на шаг, и Элеонор ставила их на одни и те же места: на комод у зеркала, на подоконник в угловой, на крышку рояля.

Парадная половина не знала живых: прислуга мыла полы до середины коридора и дальше не шла, объясняя, что оттуда дует. Граница была видна и без объяснений: половицы там были чище, чем у порога, и следов на них не оставалось. Элеонор переступала эту черту каждое утро и каждый раз на секунду замирала, как замирают на льду, хотя льда не было.

— Доброе утро, — говорила она, ставя гортензии на крышку рояля.

Леди в Чёрных Кружевах не отвечала. Она сидела у инструмента, как сидела всегда, чуть склонив голову, и под тяжёлой вуалью у неё не было лица; из деревянного нутра рояля поднимался глухой утробный стук, и Элеонор давно перестала решать, механизм это или сердце. Она поправила ветку, чтобы та не касалась клавиш, и убрала с пюпитра пыль, которой там не было.

Последним был цокольный этаж, и подвалов в нём оказалось два.

В первом топилась печь, прислуга гремела посудой, и пахло варёным: капустой, луком и мокрой тряпкой. Там было тепло и шумно, и Элеонор заходила туда редко, потому что живые при ней замолкали и потом ещё с минуту искали, о чём говорить.

За некрашеной дверью не топили лет тридцать. Там, в полутьме, трудилась Повариха из Медной Выпи, начищая полупрозрачной ветошью старые медные тазы, и от её движений по всему дому расходился запах засахаренного имбиря и сушёной лаванды. Она не оборачивалась на шаги и не поднимала головы; только таз в её руках поворачивался, и на меди проступало отражение: потолок, стена, огонёк свечи.

Живые в ту кухню не заходили: свечу ставили у порога, зажигали и уходили, не оборачиваясь. Элеонор заходила, ставила свечу на стол, между тазами, потому что у порога её задувало, и стояла, пока глаза не привыкали к темноте.

— Тепло тебе? — спрашивала она.

Тряпка шла по меди круг за кругом. Пахло имбирём.

Гости ездили раза два в год, к обеду: соседи, у которых хватало любопытства на сорок миль дороги. За столом говорили о ценах на шерсть, о размытом мосте и о том, что пора бы уже, сударыня, показаться на мессе; ели с аппетитом и хвалили хозяйку.

Однажды за таким обедом гость, сидевший близ окна, разговаривая, потянулся вилкой к тарелке, что стояла перед пустым стулом на краю стола. Элеонор, не поднимая голоса, взяла его руку за запястье и отвела к его собственной тарелке.

— Виноват, — сказал он. — Я думал, это мне.

— Это не вам, — сказала она.

— А кому?

— Тому, кто придёт.

Гость посмеялся, решив, что она шутит, и рассказал эту историю в парафии: как хозяйка не дала ему взять кусок с пустой тарелки. Там её повторяли всякий раз с новыми подробностями, потому что подробности делают историю лучше, а правды в ней и без того было немного.

В парафии хозяйку почитали тихой, кроткой и слегка не в себе, и это было самое удобное мнение, какое можно составить о женщине, которая каждое утро ставит цветы в комнаты, где никто не живёт. Иного объяснения никому не приходило в голову: сквозняк, мышь, старая кладка. Этими тремя словами в доме закрывали всё, чего нельзя было понять.

К вечеру дом сходился в столовую.

Она узнала его по шагам раньше, чем он вошёл: левый каблук скрипел, а от сюртука тянуло табаком, который он привозил из города, и мокрым сукном.

— Том, — сказала она, когда он показался в дверях, и он кивнул так, будто она напомнила ему имя, которое он сам забыл.

Он ужинал при свечах и пересказывал газету восьмидневной давности, которую читал уже дважды.

— Тут пишут, мост опять размыло. — Он подносил газету ближе к свече, будто в ней было ещё что-то, кроме этого. — До весны, надо думать, не починят. А починят, так, как у людей, опять размоет. И воск, гляди-ка, подорожал.

— Воск, — отвечала Элеонор.

— Свечи, Элли. — Он улыбнулся, будто извиняясь за собственную придирчивость. — Свечи — это воск, я не в укор.

Она сидела напротив, держала вилку и отвечала там, где ответа ждали. Он рассказывал, что в городе у почты поставили новый фонарь, чугунный, с крышкой, и фонарщик ходит там с лестницей и зажигает его в пять, а у них за сорок миль от города темнота, хоть глаз выколи.

— Я справлялся в магистрате, — сказал он. — Может, и нам пришлют. Мужик с лестницей, делов-то.

— Может, — сказала Элеонор.

Он смотрел в тарелку и не поднимал глаз, и она поняла, что про фонарь он завёл дорогой, чтобы не спросить о том, о чём приехал спросить.

— Элли, ты бы села ближе к печи.

— Мне не холодно.

— Слава Богу, — сказал он и посмотрел на её руки.

— Я приеду в четверг, — сказал он потом. — Или в пятницу. Дорога дрянь.

— Приезжай, — сказала Элеонор.

Он благодарно кивнул, будто она разрешила ему уехать.

Прибор у окна, накрытый по всем правилам, он замечал не больше, чем обои. За окном темнело, и в стекле отражалась столовая: свечи, две спины. Элеонор старалась не смотреть в это стекло, потому что там их было ровно двое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.